

Тяжелая витушка

Это про мою-то витушку? Как я богатым был да денежки профурил? Слыхали, видно, от отцов? Посмеяться, гляжу, над старичком охота? Эх вы, пересмешники. А ведь было. Вправду было. И ровно недавно, а как сон осталось. Иное, поди, и вовсе забыл. Шибко, вишь, память-то свою промывал в ту пору... Чуть с головой не умыл. Где все помнить!

С воли это, слышь-ко, началось.

Ее — волю эту — у нас на приiske начальство прикрыть хотело. По деревням разговор прошел, а мы и слыхом не слыхали. Только та заметка и была, что в завод на побывку отпускать не стали. Хоть того нужнее человеку, — один ответ — нельзя. И пришлых на прииск принимать не стали.

Что, думаем, за притча? Раньше сколь хочешь со стороны брали, а теперь не надо? И нас что-то крепко держат?

А прииск в глухом месте был. Под Васькиной горой в лесу. Давно тот прииск бросили. Там, сказывали, не то дикой огонь, не то синюха объявилась. Это уж не знаю. Дикому огню по здешним местам ровно бы не должно быть, а синюха — это бывает. Ну, не в том дело... Прикрыли, говорю, тот прииск под Васькиной горой, а тогда бойко работали, и золотишко шло вовсе ладно. Народу, конечно, порядком нагнано было, и все из наших заводских. Вот приисковско начальство, видно, и думало:

«Откуда им узнать, коли никого домой не отпускать и со стороны народ не брать. Пусть-ко по-старому работают. Нам так-то привычнее».

Только разве народ не дойдет? Узнали и зашумели:

— Как так? Всем воля, а нам нет.

Начальство нашло отговорку:

— В церквах, — говорят, — волю читают, а у нас где? У бочки, что ли?

Кабака, вишь, настоящего на приiske не было, а винну бочку казна держала. Заботилась, значит, как бы кто копейку домой не унес. У этой винной бочки, конечно, всякого бывало... На то и намекали. Насмех повернуть им охота пришла. Только народу какой смех. Шумят, таку беду, кричат:

— Читай сейчас, а то все с прииска уйдем в завод волю слушать.

Начальству делать нечего — притащили бумагу, давай вычитывать. Да разве поймешь у них, что нагорожено? Дознаваться стали, что да как? Про пашню первым делом, про леса, про пески тоже — как с ними? Начальство и говорит — пашни по нашим местам взять неоткуда, леса и пески за владельцем, а за избы свои да за огородишки вам платить причтется.

Так и удумано было, только никто тому не поверил.

Я тогда уж мужик вовсе на возрасте был, а про волю-то слышал, шумлю больше всех.

— Мошенство, — кричу, — это! Не может такого быть! Айда, ребята, в Полеву! Там разберем, как надо. Что этих слушать-то!

Другие тоже не молчат. Приисковский смотритель — ох, язва был, а ласкобай! — тогда и говорит:

— Ваше дело, ребяташки, ваше дело. Вольные вы теперь. Куда захотели — туда и пошли. Нас не обессудьте — обратно принимать не станем. Дружкам своим тоже весточку подадим, чтобы остерегались вас на работу брать. Мы ведь тоже, поди-ко, вольные — не всякого примать станем, а кого нам любо. В этом не обессудьте!

Это он, конечно, с хитростью так-то говорил. По закону другое выходило. Заводская земля, поди-ко, не навовсе барам отдавалась, а по условию, чтоб, значит, всякому заводскому жителю какая ни на есть заводская работа была предоставлена. Только разве кто про эту штуку знал по тому времени? Вот смотритель и припугнул — работы, дескать, давать не будем, чем тогда жить станете?

Тут иные посмякли, а кто помоложе да погорячее — на своем остались: ушли с прииска. И я в том числе. Пришли домой и первым делом про волю спрашивать стали. Ну, нам и обсказали:

— Эта, дескать, царская воля, как примерно, у человека на голове плешь, — блестит, а уколупнуть нечего.

Мы видим — верно, вроде того выходит. Все ж таки испировали маленько. «Хоть, — думаем, — спина не так отвечать будет». Того и не смекнули, что брюхо погонит, так заневолю спину подставишь.

Пропились, конечно, до крошки, а кусать всякому надо. Что делать, коли у тебя ни скота, ни живота, а ремесло одно — землю перебуторивать.

Мне это смолоду досталось. В ваши-то годы я вон там на Гумешках руду разбирал. Порядок такой был — чуть в какой семье парнишко от земли подымается, так его и гонят на Гумешки.

— Самое, сказывают, ребячье дело камешки разбирать. Заместо игры!

Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил:

— Подрос парнишко. Пора ему с тачкой побегать.

Счастье мое, что к добрым бергалам попадал. Ни одного не похаю. Жалели нашего брата, молоденьких. Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там либо волосянки — это вместо пряников считалось, а под плеть ни разу не подводили. И за то им спасибо.

Еще подрос — дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные.

— Поиграй-ко, позабавься!

И довольно я позабавился. Медну хозяйку хоть видеть не довелось, а духу ее сладкого нанюхался, наглотался. В Гумешках-то дух такой был — поначалу будто сластит, а глотнешь — продыхнуть не можешь. Ну, как от серянки. Там, вишь, серы-то много в руде было. От этого духу да от игрушек у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал руднишное начальство упрашивать:

— Приставьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди — умрет, а двадцати трех ему нету.

С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять.

Тут, дескать, привольно. Дождичком вымочит — солнышком высушит, а солнышка не случится — тоже не развалится.

В наших местах, известно, руду вразнос добывают, сверху берут. Так-то человеку вольготнее, только мне не часто это приходилось. Больше в землю же загоняли. Такая, видно, моя доля пришлась.

— Ты, — говорят, — к этому привычный. На Гумешках вон сколь глубоко, а здесь что. Самая по тебе работа.

Так я всю жизнь в земле и скребся, как крот какой. Ну, в этом деле понимать стал, а больше-то и нет ничего. Вот и думаю: «Некуда мне податься, кроме как в землю».

Только приисковому смотрителю тоже покориться неохота — на старое-то место идти, а в гору и вовсе желанья нет. С молодых лет наигрался там, да гляжу, — и другие из горы повыскакали. Куда вовсе несвышно лезут, лишь бы не в гору. Вот она какая сладкая была! Никому неохота туда по воле спуститься. Выработка-то сразу убавилась. Зовут туда, заработок обещают получше, а люди в сторону глядят.

Потом один по одному собираться стали на Гумешки и в гору полезли. Сказывают — еще там хуже стало, потому — вода силу взяла. В откачке-то, видишь, большая остановка случилась, ну, вода и взяла волю. Только на заработок не жалуются. Против других-то мест вовсе ладно приходится. Иной в кабаке и прихвастнет. Сыпнет на стойку пятаков, да и приговаривает:

— Хоть из мокрого места добыты, а денежки сухонькие да звонкие!

Гумешки, известно, для барского кармана самым прибыльным местом считались. Их и старались сохранить. Всяко туда народ заманивали и на плату не скупилась.

Ну, я все-таки крепился.

— Нахлебался сладкого. Не пойду в гору, хоть золотом осыпь! Не пойду и не пойду!

И жена меня к этому не понуждала, попутные слова говорила:

— Не ребятишки у нас. Без горы проживем как-нибудь.

Только говорить-то это легко, а как поесть нечего, так всякому невесело станет. Продержал этак-то с месяц, вижу — вовсе туго пришлось: работы никакой, и куска нет. Что делать? Либо поклониться приисковскому смотрителю, от которого ушел, либо — в гору спускаться. Думал-думал, на то решился:

— Пойду в гору.

Тут и навернулся ко мне кособродский один, Максимко Зюзов. Дружок не дружок, а знакомец. Случалось, в одном месте рабатывали. Тоже мужик вовсе возрастной, седой волос пускать стал. Ну, те разговоры, други разговоры, потом он и говорит:

— Давай-ко, Василий, станем на себя стараться. Не вспучишь их — казну-то! А нам, может, фартнет. Струментишко нехитрый. Не обробим себя — и то не беда. Попробуем, давай!

Понимал я, к чему это гласит. Про меня, вишь, люди-то говорили — этот, дескать, сроду в земле роется, знает, что где положено. То, видно, Зюзева и заохотило со мной искать. Подумал-подумал я, да и говорю:

— Ладно, нето. Попытаем, в котором месте наш фарт лежит.

Указал, конечно, местичко, заявку в конторе сделали, стали дудку бить. Песок пошел подходящий... Вовсе биться можно, даром что в контору за самый пустяк золото сдавали. Только Зюзеву все мало. Он, вишь, из скоробогатых. Покажи ему место, чтобы сразу разбогатеть. Я ему сперва по совести:

— Это, мол, и есть доброе место. Надо только не все золото конторе сдавать, а часть купцам. Тогда и вовсе ладно будет.

Зюзев про это и слышать не хочет, — боится. Да еще дался ему какой-то серебряный олень. Все меня спрашивает — не видал ли? Он будто ходит близко, видели его люди. Там вот и надо копать, где тот олень ходил. Я уговаривал Максимка не один раз:

— Какой олень по нашим местам? Тут только козлы да сохаты.

Максимко все ж таки мне не верит, думает, — не сказываю. А я всамделе оленя за пустяк считал. На змею, на ту надеялся маленько, на иней тоже. Примечал змеиные гнезда, места тоже, на коих иней не держится. Это было, а на оленя вовсе не надеялся. На этом мы и разъехались. Максимко свое кричит, я свое. Рассорка вышла. Тут он меня и укорил:

— Мой хлеб ешь!

Я не стерпел, конечно:

— Как твой, коли с утра до ночи в земле колочусь.

Он и давай высчитывать, и все на кривой аршин. Сколь мы от конторы за золото получили — от половины отперся, а сколь мне давал — то вдвое выросло. Плюнул я тут:

— Оставайся, лавка с товаром!

Взял лопату и пошел, а он кричит, всяко хаает мое место: — Часу не останусь! Кому нужно пустое место!

Тогда я и говорю:

— Коли так, сам тут останусь.

Максимко давай надо мной смеяться:

— Чем ты без меня держаться будешь? Свое-то я сейчас увезу. Других дураков, кои бы тебя кормить стали, не найдешь. Всем скажу, какое тут богатство. Сиди один на голой-то дудке.

«Погоди, — думаю, — кошкин сын, докажу я тебе!»

Пришел домой, побегал по своим дружкам, перехватил того-другого и говорю жене:

— Собирайся на прииск. Подымать будешь.

Нонешняя-то старуха у меня другая. Так уж, для домашности ее взял, а тогда у меня жена настоящая была. Смолоду женился, вместе горе мыкали. Славная она у меня была и в рудничном деле бывалая.

— Ладно, — отвечает.

Пришли мы к дудке, а Максимко вовсе ее оголил. Скажи, жердник был... я же и рубил... Так он и этот жердник уволок. Подивился я, до чего вредный человечешко. Ну, наладил мало-мало. Стали ковыряться. Промыли — ладно. А Максимко наставил, видно, что пустое место. Оленя своего искать стал. Наше место и обегают. Двоем с женой тут и скребся. Нам это на руку. Да еще из-за этого Максимка укрепился я — в кабак ни ногой. Покориться-то было неохота, что единого дня не продержусь. И место новенькое нашел, куда золотишко сдавать.

Орлёным-то, слышь-ко, ястребкам, кои тайной продажей промышляли, с опаской сдавать приходилось. Они понимали сорт. Углядят — ладно мужик несет, сами на то место заявку сделают, либо обрежут со всех сторон, а то и вовсе выживут. Вот я и нашел нового купца. Шибко он жадный был, а сил настоящих еще не было. Кабак, конечно, содержал — тесть у него там сидел — при доме амбар со всякой мелочью, тут же и мясом торговал и по ярмаркам ездил. Одним словом, свет бы захватил, кабы руки подольше. К этому купцу я и стал понашивать. Он понимал, как золото от припою отличить, а настояще сорт понять где же! Привычку на это надо иметь и глаз не такой. Тут нутрянной глаз требуется, который в нутро глядит, а у этого купца верховой глаз — во все стороны. Где такому сорт золота узнать! Да и побаивался он.

— Ты, — говорит, — Василий, не скажи кому, что мне золото сдаешь. Не привык я к этому. Сибирью такие дела пахнут.

Про то не сказывал, чем барыши пахли, а, видать, неплохо. Разохотило его. Никогда отказу не было, и в цене без большой прижимки, и расчет без мошенства. Это все мне подходило, — сдавал ему помаленьку. Так бы, может,

мы с женой и вовсе жителями стали, не хуже других век прожили, да тут эта витушка и подвернулась.

Как сейчас помню. Накануне Здвиженья было. Баба кричит мне в дудку:

— Будет тебе, Василий. Праздник, поди-ко, завтра. Прибраться надо. Пойдем домой поскорее.

Песок у меня вовсе крепкий, чисто камень. Намахался я и думаю: «Верно, хватит...» Размахнулся для последнего разу покрепче, а кайло-то у меня и задержалось, — как под камень попало. Вышатывать стал — не выходит. Рванул во всю силу на себя, мне в правую ногу и стукнуло, да так, что хоть криком кричи. Как отошла маленько боль, я и полюбопытствовал — что за камень такой? Взял в руку. Мать ты моя! Золото. Как вот витушка праздничная, только против хлебной много тяжелее. Сверху вроде завитками вышло, а исподка гладкая, только чутешные опупышки на ней, как рукой оглажены. Сколь его тут?

Про ногу сразу забыл. Кричу: «Подымай, Маринша!» Она, не того слова, вымахнула, а я вовсе как дурак стал. Смеюсь это да давай-ка ее обнимать — это жену-то!

Она спрашивает.

— Что ты, Алексеич?

Я тогда и показал:

— Гляди!

— Ну, что? Вижу — камень какой-то...

— Держи!

Она думала — небольшой камешок, не сторожится, а как подал, так у ней рука вниз и поехала. Побелела тут моя Маринушка и, даром что кругом лес, шепотом спросила:

— Неуж золото?

— Оно, — говорю.

Смывку песку делать не стали. Домой скорее.

И вот диво, — бежим, всю дорогу оглядываемся, будто мы что украли. Прибежали домой. Запрятал я витушечку, наказываю Марине:

— Гляди, не сболтни кому!

Она обратно меня уговаривает:

— В кабак не зайди ненароком, пока золото не сдал.

В контору такую штуку нести и думать нечего. Еще отберут! А уж место захватят — про то и говорить не осталось. Вечерком и пошел я к своему-то купцу. Будто мяска для праздника купить. Улучил минутку, говорю — дело есть.

— Обожди, — говорит, — маленько. Скоро амбар прикрою.

Вот ладно. Отошел покупатель, запер купец двери и говорит:

— Ну, давай.

Это и раньше бывало, — в амбаре-то сдавать. У него, вишь, весов-то настоящих не было, а кислоту да царску водку на полке открыто держал, будто для торговли. Просто тогда с этим было, кому доходя продавали. Я и говорю:

— Запри-ко ты и в ограду двери.

— Зря, — отвечает, — беспокоишься. Из своих никто не зайдет, — не велено, а чужих не пустят.

А я свое:

— Запри все ж таки.

Он тогда и забеспокоился:

— Уж не узнал ли кто, зачем ты ко мне ходишь? Может, сказал кому?

— Про это, — говорю, — не думай. Никому и в мысли не падет, зачем к тебе хожу. Только много у меня.

— Это, — отвечает, — не беда, что много. Лишь бы не мало. Сколь хочешь приму. — Двери, однако, запер в ограду-то. — Ну, — говорит, — кажи!

Взял я тут для случая топор с мясной колодки, подал ему свою витушку в тряпице:

— Ну-ка, прикинь сперва это.

Он — купец: по руке-то сразу почуял, — тяжело.

Спрашивает:

— Что это у тебя?

— Прикинь, — говорю.

Бросил он на ходовые весы. Вывешал, как следует, говорит:

— Восемнадцать с малым походом.

— Вот и бери.

— Что брать-то? Где оно у тебя?

— А в тряпице-то...

— Восемнадцать фунтов?

— Сам вешал. Коли силы не хватит, в контору снесу.

Это про контору-то я так, для хитрости, помянул. С чего бы я туда потащил? Развернул мой купец тряпицу, давай витушку кислотой да царской водкой пробовать. Ну, золото и золото. Тут, — гляжу, — в пот купца бросило. Так с носу и закапало, а молчит, только на меня уставился. Потом и говорит:

— Поди, сверху только золото-то?

Вишь, какое понятие у него! В самородке, думал, середка чугунная. Ну, не дурак ли? Я ему растолковываю, что вот опупышки-то и есть самородная печать, а он, видать, не верит. Отговорку нашел:

— Эко-то место мне не откупить. Денег не хватит. Разрубить придется. Не в контору же тебе сдавать.

Уговаривает, значит, меня. Я и сам вижу — без этого не обойдется, а жалко рубить-то. Ну, все ж таки взял витушку да тут же на мясной колодке и обрубил крайчики. Купец опять давай пробовать. Тут уж, видно, настояще уверился, побежал в дом за деньгами. Прибежал со шкатулкой, а самого так и трясет. Боится, видно, и жадность одолела. Тоже ему кусок. Не знаю, почем они сдавали, а мне этот купец на рубль дороже против конторского платил.

Вывешал купец на ходовых весах середину особо, крайчики особо. Выгреб из шкатулки, из-за пазухи выворотил пачки бумажек покрупнее. Ну, выручку в это же место... На крайчики денег довольно, а ему серединку купить охота. Она потяжелее вышла.

— Поверь, — говорит, — в долг. Через день, много через два, отдам.

Ну, объясняю, конечно, что в таких делах долгов не бывает. Тогда он и говорит:

— Пойдем ко мне, посиди маленько. В кабаке за выручкой сбегая, — и подвигает ко мне деньги-то. Сосчитал я. Вижу, — ладно будто, пустяка не хватает. Подождать можно. Как у купца видел, тоже крупные-то деньги за пазуху забил, а помельче в карман, крайчики в сапог спрятал. Пошли мы с купцом в дом, а там, — гляжу, — угощение выставлено. Хозяйка, такую беду, суется, хлопочет.

Убежал купец в кабак, а она ко мне и подъезжает:

— Выкушай, гостенек! Не почванься на моей хлеб-соли. Не изготовилась, как следует. Не ждала гостя.

А чего не изготовилась — полон стол наставлено. Ну, я креплюсь, конечно, — не пью вина. Так ей и сказал:

— При деньгах. Нельзя мне.

Она это вьется всяко да наговаривает:

— Красненького хоть, нето, выпей, — и подает мне в руку стаканчик. Так небольшой стаканчик, с половину чайного. — Я, — говорит, — и сама этого-то выпью, — и наливает себе такой же стаканчик.

«Что, — думаю, — мне с одного сделается? Неуж перед женщиной неустойку покажу?» Взял да и хлебнул.

Ох, и вино! Такого отродясь пить не доводилось. Крепкое будто да густое, а дух от него: век бы нюхал. Потом я узнал — ром называется. Шибко мне поглянулось, а бабенка эта — купчиха-то — уж успела, другой стаканчик налила. Я и другой хватил, а дальше, известно, — полетели мелки пташечки...

Все ж таки я тогда убрался от купца. Деньги и крайчики в целости донес домой. Вместо додачи, за которой купец в кабак бегал, мешок гостинцев приволок. Еды там всякой, жене шаль, конечно, и протча тако. И тут же, слышь-ко, ромку этого бутылок пять либо шесть. Купчиха-то, вишь, удобрилась, говорит мужу:

— Поглянулось человеку — что нам жалеть? Отдай ему, Платоша, все. Из города потом привезешь.

Купец рад стараться:

— Да я... ему-то? неуж пожалею... Пущай на здоровье выкушает стаканчик и супружницу свою попотчует. Не пивала, поди, она такого вина? Попотчуй ее, не забудь! Я тебе еще привезу. Так привезу... не за деньги!.. Для хорошего человека мне не жалко... Попотчуй жену-то, не скупись.

Пришел я домой, показал Марине кучу денег, захоронил крайчики и давай жену потчевать. Она сперва отнекивалась — крепко будто, потом похваливать стала — какой дух баской!

Пьяные-то мы зашумели, конечно. Песни запели, пляска на нас нашла. Знакомцы разные понабились. Видят — фартнуло, поздравлять стали:

— Со счастливой находочкой.

Ну, припили, приели что дома было, в кабак пошли. А купец этот тестя в амбар — сам за стойку и всяко мне сноровляет. Приятелей у меня тут объявилось — ни пройти, ни проехать. И покатилося колеско по гладенькой дорожке. Бабенки появились, прилипать ко мне стали. Маринушке моей это обидно, конечно... Она тогда на ромок налегать стала. Купец и ей угождает и так, слышь-ко, втравил, что и от простого не стала отворачиваться. На две-то руки у нас и пошла работа, а купец знай обсчитывает да обсчитывает.

Проспимся когда, себя потешим:

— Крайчики у нас остались.

Только и крайчики, даром что с рванинкой были, тоже, как по маслу, в купецкий карман ушли. Чисто мы отработались.

Это бы ничего, да то худо — захворала моя Маринушка. От жизни-то этой худой. Помаялась маленько, да и умерла. Схоронил ее, потужил, погоревал — и на прииск. Куда больше-то?

На том месте, где мы нашли эту перепеченную витушку, Максимко Зюзов со всей родней. Место-то, вишь, на него было писано. Он и припал тут. Не стал, видно, за оленем своим бегать. Раздобрел — фу-ты, ну-ты! Шапка с бантом, сапоги с рантом! В Косом Броду сыновьям дома поставил. По воротам бляшки набил. Знай наших! Одним словом, разбогател.

Поглядел я, поглядел, да и пошел на Бесштанку. Там у меня тоже было примечено. Охочих со мной стараться — хоть колом отбивайся. Думаю — не попаду ли опять на витушку, а то и на целый калач.

Только, видно, не испекли больше про меня. Так, золотишко нахаживал... Себе и людям хватало... А чтоб такую же дурь выколупнуть — этого больше не случилось.

Может, оно и лучше. Хоть свой век доживу да с горки на людей погляжу, а то где бы дотянуть! Наш старательский фарт ведь что? Сперва человек с перепоею опухнет, а там, глядишь, и ноги протянет.

Так-то... Думали мы с женой — счастье нашли, а оно в беду ей перекинулось. Подвели люди. Ну, и меня поучили. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье уходит...

Вон те дома да каменные лавки Барышевские на нашей с Маринушкой доле и поставлены. Вовремя мне тогда Барышиха стаканчик поддодонила. Сумела, змея. Этим стаканчиком посеючас меня люди дразнят. А мне что? Дурость, конечно, а все ж таки пропил — не украл. И свое — не чужое.

Вот бы их — купцов-то — спросили, как они меня пьяного обворовывали, как жену покойницу к могиле толкали. А ведь спросят по времени. Еще как спросят-то! Тогда, поди, и наша с Мариной витушечка в счет пойдет.

Ну, что? Не шибко, гляжу, вам смешно? Веселее бы сказал, да мало такого видал.